

ВИДЕНИЕ ОТЦУ АНДРЕЮ. 1921 ГОД

– Да хоть голову рубите, всё равно в «живцы» не загоните!

Отец Андрей уронил свою косматую, в прядях седины, голову на стол перед сидящим за ним уполномоченным так, что тот, чернявый парень, с видимым испугом отпрянул.

Брат Аркадий, взмахивая широкими раструбами рукавов рясы, подбежал к отцу Андрею, тряхнул за плечи:

– В своём ли ты уме так-то говоришь?! Опомнись!

– Отойди, отступник! Иуда!

Председатель горсовета и двое дюжих «огепеушников», приехавших с уполномоченным из Вологды, угрюмо молчали.

Вывели-таки старого попа из себя. Сухонький, невысокого ростика, он отвечал невозмутимо, скупое. Поначалу сулили ему чуть ли не золотые горы, если в «обновленческую» церковь перейдёт, на брата указывали – правильно, мол, понимает момент товарищ. Иногда, правда, поправлялись: гражданин поп.

Аркадий, широкоплечий – подрясник по швам трещит, голова в крупных кольцах смоляных волос, отца Андрея помладше едва ли не на двадцать лет, кивал согласно, норовил в агитацию свои слова вставить.

Не проняли посулы старшего Введенского – посыпались угрозы. И тогда отец Андрей вспылит...

– Вот что! – нарушил тишину пожилой вислоусый «огепеушник» и тяжёлыми шагами, заложив руки за спину, стал вымерять горенку. – С сегодняшнего дня храм закрывается, помещение передаётся горсовету под склад. Постановление...

Он протянул руку, и председатель, услужливо согнувшись, подsunул ему лист бумаги.

– Ознакомься... По просьбам трудящихся.

– Завтра же престольный праздник! – глянул на него с недоумением отец Андрей. – Со всей округи народ придёт!

– Придёт да уйдёт! – усмехнулся «огепеушник». – Отменяется ваш праздник! А ты, батя, собирай-ка по шустрому монатки, с нами прокатайся!

Пропрощаться с домочадцами не дали. На улице в скорых зимних сумерках у распахнутых настежь ворот церковной ограды таился крытый возок, запряжённый тройкой сытых ухоженных лошадей. Отец Андрей шагнул было к тропинке, ведущей к поповскому дому, но за спиной батюшки вислоусый, воровато озираясь, подмигнул напарникам. Один вместе с ним подхватил священника под локти, а другой, молодой, шмыгнув за ворота, что есть силы толкнул от себя кованую створку.

Отец Андрей вдруг почувствовал, что не достает ногами земли; одно, что ещё он успел сделать – запрокинул назад голову, оберегаясь от летящих навстречу чугунных граней причудливых узоров калитки. В глазах ослепительно-ярко рассыпалось что-то круглое, похожее на солнце, растеклось кровавым маревом и схлынуло разом в чёрную пустоту...

Удар был сильным: крепкие мужики, приподнявшие и выставившие перед собой священника наподобие щита, еле устояли на ногах.

– Здоров ты, Ёжкин-Стёжкин! – похвалил юнца вислоусый. – Давай-ко попа в сани! Пригоним – и в ледник его! Очухается, подморозит там муде, на всё согласен будет.

– Праздничку-то, ить, точно не бывать! – хмыкнул юнец. – Занемог батюшка-то.

– А-а! – вислоусый, довольный, хлопнул парня по плечу. – Погнали!

Отъехали немного, и кто-то увидел метавшуюся в проёме ворот фигуру в раздуваемой ветром колоколом рясе.

– Братец не видал, как мы его?

– А и видал дак... Наш ведь человек, – усмехнулся вислоусый и лениво зевнул...

...Отца Андрея разбудил, вывел из забытья нестерпимый, поднимающийся снизу по ногам холод. Он тысячами игл впивался в кожу, ранил её, ломил изведённые ревматизмом суставы, но, подобравшись к груди, споткнулся словно и надавил жгучей, не позволяющей глубоко вздохнуть болью.

Священник, боясь пошевелиться, осторожно разрывая жёсткую коростину на лице, разлепил веки и ничего не увидел.

По-прежнему вокруг была тьма, лишь обоняние уловило запах старого слежалого льда и примешивающийся к нему – крови. Отец Андрей отшатнулся, охнул от боли в груди, ооченевшие ноги его подкосились, но он не упал, даже не сдвинулся с места: что-то прочно удерживало его. Он приложился щекой и ощутил продолговатое железное кольцо, в нём – замкнутое – другое и понял, что висит на цепи, ввинченной в потолок. Она-то, зацепленная за пояс крюком, царапающим остриём ребро, и держала. Расстегни бы пояс и освободись – да не тут-то было: руки связаны за спиной и их затёкшие кисти, как чужие.

Отец Андрей с содроганием догадался вдруг, где находится. Наверняка, это был тот самый купеческий ледник, о котором в Городке ходили страшные слухи – откуда и слежавшийся лёд и запах крови. Батюшка на миг представил злобные лица чекистов, почувствовал сжавшие ему локти сильные руки, и опять кованая, в узорах, створка ворот летела навстречу...

«Изверги, хоть бы на пол бросили умирать! На каменном-то недолго б промучился! Нет, подвесили на крюк, как тушу... Может, здесь ещё кто православный страдает?» – он с надеждой несмело спросил в темноту, но слабый его зов прозвучал одиноко и беспомощно, зато отголоски, отлетев от стен, гоготнули зловеще.

«Всё! Изведи из темницы душу мою... Прости мне, Господи, все грехи мои и прегрешения!»

Холод теперь обволакивал и боль в груди, она стала утихать. Священник, уронив голову и прикрыв глаза, еле шевеля непослушными распухшими губами, начал было читать отходную молитву, как неосвязаемо, будто в полусне, ощутил льющийся откуда-то сверху свет, и в тёплом, радужном мареве, весь трепеща, различил знакомые и родные с детства пологие низкие холмы. На одном из них в окружении неглубокого ровика, заполненного водой, стояла убогая избёнка с куполком и крестиком на крыше.

Отец Андрей привычно искал взором родной храм, но его не было! На том месте избушка и чернела... Страдалец странным непостижимым образом перенёсся близко к ней, даже смог заглянуть в крохотное оконце и поразился, увидев внутри её измождённого человека в заношенной, в заплатках, монашеской одежде. Чернец пошевелился и звякнул цепью, спускающейся с потолка и прикованной к железному обручу

на его чреслах. Отец Андрей не мог поверить в то, что видел. Дело в том, что он знал, кто был перед ним...

ГОРОДИЩЕ. 1612 ГОД

...Жителям Городища иссохший, с веригами на теле, в ветхом одеянии монах примелькался скоро; некоторые с немалым трудом узнали в нем выкурнувшего невесть откуда посадского мастерового Ганьку Подкидыша. Однако на прозвище он не откликнулся, а называл себя полученным при постриге именем гордым и звучным – Галактион.

И уже давали ему по щедротам кто – брёвнышко, кто – жердину, чтоб успел до зимы доладить келью. Место он выбрал за городским валом, с краю посада, на пустом бугре, окружённом низинами с журчащими в них ключами. Едва достроил низкую, с куполком на коньке крыши келейку, принялся орудовать лопатой – окружать своё обиталище рвом и, когда вода из ключей наполнила ров, попросил у кузнеца сделать длинную тяжёлую цепь и приковал себя к потолку кельи. Никуда больше не выходил.

Народ на посаде жил небогатый да сердобольный. Любопытные ребятёнки порассказали матерям о сидящем на цепи, дни и ночи напролёт молящемся чернеце, и те, крестясь и приговаривая испуганно-уважительно: «Где-ко, спасается-то сердешный как!», стали посылать с отроками узелки со снедью: с голоду не помер бы.

Но Галактион, звякая цепью, подходил к окошку и молвил тихо:

– Спаси Бог за милостыню... Не желаю быть нахлебником, несите кожу – сапоги тачать стану, чай, не разучился!

Он не пошёл, как иные из братьий, из монастыря по топям и чащобам звериными тропами искать уединения для молитвенной беседы с Богом. Он возвратился в свой Городок, куда когда-то давно был привезён ещё несмышлёным чадом и никак не мог взять в толк – почему после чистых высоких палат оставил его дядька Иван в тесной, пропахшей кожами и дёгтем, избе. И сам пропал.

Отрок прижился в чужой семье: хозяина с хозяйкой вскоре стал называть тятей и мамой, и те уж не отличали его от своих кровных детушек. Семейство пробивалось сапожничаньем, ремеслу обучился и подкидыш.

Вошёл Ганька в лета, и сосватали, оженили его на посадской красавице.

Недолго пожил Ганька с молодой женой: в одночасье представилась она, сгорев в страшной лихоманке. Подкидыш словно умом тронулся: бродил по Городку пугающей безмолвной тенью, исхудалый, в изодранной в клочья одежде, грязный. Его жалели; как ни старались, не могли добиться ни слова, и, когда он однажды запропал – подумали, что не наложил ли на себя руки, не продал ли душу дьяволу, и облегчённо вздохнули, когда кто-то из земляков заметил его в послушниках в дальнем монастыре.

«Туда ему и дорога! – рассудили. – Всё одно, средь нас не жилец...»

Однажды всколыхнуло городище: нагрязнул шибко важный боярин аж из самой «первопрестольной» от грозного царя с отрядом ратников; местный воевода дрожал как лист осинный.

Рыскали не понять и кого, вроде б какого-то княжого сына, и не сразу раскумекали людишки: ищут-то Ганьку Подкидыша. Отряд умчался шарить по окрестным монастырям, а из народишка кое-кто испуганно крестился: не зашибли бы сановные малохольного, коли сыщут.

Да уберётся, видать, Ганька то ли плахи, то ли чести, раз вернулся обратно. А вот зачем принялся изнурять не жалеючи плоть свою железом, не ведал никто, кроме него самого.

Он часа своего ждал...

...Как-то, ещё в монастыре, за вечерней молитвой в храме на распростёртого в земном поклоне Галактиона не то сонная хмарь накатилась, не то выпал он просто из сознания, ощущая невесомость в теле и пугаясь, а ещё больше дивясь видению, взору открывшемуся...

...Красивый, поблёскивающий позолотой куполов церковей возле мощного детинца на холме город был обложен со всех сторон неприятельской ратью. «Суздальцы!» – будто кто подсказал Галактиону, завидевшему стяг со львом на полотнище, под ним – князя, кутающегося в алое корзно.

Готовились к приступу. Князь поднял руку, и ватага лучников выдвинулась вперед.

Похоже, приступ обещался быть последним. Над городом клубилась зловеще чёрная дымная туча, там и сям

от пущенных с огнём стрел разгорались пожары. Защитников на городской стене оставалось немного; израненные, они угрюмо, молча, взирали на подступившую рать, ожидая смертного часа.

Послышалось вдруг, словно из-под земли донеслось тихое молебное пение. Люди на стенах откладывали в сторону оружие, торопливо снимали шеломы и становились на колени.

«Пресвятая Богородица! Заступница усердная...» – шептали запёкшиеся губы, а взгляды с надеждой устремлялись на икону, несомую двумя дюжими монахами.

Шествие медленно двигалось вокруг по стене, сияло яро облачение на епископе, вился синий дымок ладана из кадила диакона, клиросные певчие – женщины с испуганными заплаканными лицами подрагивающими голосами тянули тропарь.

Епископ был стар, тяжело опирался на посох. Галактион попригляделся и, обмирая сердцем, узнал Иоанна Новгородского – видел фреску с ликом его на стене своего монастырского храма. Знал ещё, что жил святитель до нашествия Батыевой татарвы, в самый разгар княжеских распрей. Но изумление монаха застила горечь увиденного: брат на брата...

Между тем князь в алом корзне под городскими стенами хрипло, с насмешкой обратился к притихшему войску:

– Чего испужались-то? Ихней иконы? А ну, лучники, всыпьте!

Стрелы тонко запели в воздухе, осыпали наверхие стен, и тотчас среди застигнутых врасплох защитников раздались стоны. Одна стрела – Галактион увидел чётко, будто рядом стоял – впиалась в лик Богородицы на иконе; из глаз Пречистой Девы вытекли слезы. Раненый епископ, павший перед иконой на колени, слабеющими руками подставил край одежды, чтобы богородицыны слёзы не скатились на грешную, политую кровью, землю.

Богородица – Галактион и это видел – отвортила свой лик от нападавших...

Средь ползших было на приступ суздальцев возникло замешательство, словно чёрная морока опустилась на их расстроенные ряды. Растерянные, обезумев, бежали они от стен, в суматохе поражая друг друга.

Происшедшее с иконой заметил и воевода:

– Знамение! Знамение! – крестясь, закричал он и перекинул меч в правую руку. – На вылазку, робята! Зададим им жару!

В распахнутые ворота вытек жиденский ручеёк недавно ещё безнадежно оборонявшихся...

Пленили сброшенного взбесившимся конём князя; он в ярости бессильно скалился под навалившимися молодцами и брошенный поперёк седла, связанный, в обрывках своего алого корзна, норовил упрятать лицо под лошадиный бок.

– Знамение! – неслось над полем битвы...

...Приходя в себя, словно вываливаясь из глубокого сна, ощущая лбом и коленями холод каменных плит пола храма, Галактион услышал:

– Иди и помоги спастись граду твоему...

Он чувствовал, что медлить больше нельзя. Расковав цепь, ломая босыми ступнями хрупкий осенний ледок в лужичах, прибрёл в Городок.

Минули первые михайловки, урожай был собран и ссыпан в закрома; народ теперь, обрядившись по дому, после обеденного часу беспечно почивал, лишь лениво погавкивали псы в подворотнях.

Галактион узкой улочкой вышел на площадь с деревянной церковкой и приказной избой, так и не встретив на пути никого. Но здесь дремотной тишины как не бывало. В расписном тереме богатого торгового человека Нечая Щелкунова вовсю расходилось гульбище: из раскрытых окошек доносился гул подгоряченных бражкой и выдержанным мёдом голосов. Рокочущий протодиаконский бас возгласил многолетие воеводе – и затянули, кто бухая, басовито, а кто трескучим козлиным тенорком.

В трапезной заседала вся городская знать. Раскраснелись потные лица, горели хмельным весельем глаза, в пьяном гвалте никто и не заметил незваного гостя – чернеца.

Лишь хозяин, кряжистый, обросший чуть ли не до глаз чёрной вьющейся бородицей, удивлённо вскинул лохматые брови:

– Где-ко, кто пожаловал!

Нечай стоял возле воеводы: старец сей, ублажённый «многая лета», уже мирно почивал в креслице, уронив на грудь седовласую голову. Щелкунов отодвинул подальше блюдо с кушаньем, чтоб тот не испачкал бородёнку, взял порядочный ковшец с перебродившей медовухой и собрался поднести пришлецу.

– Опомнитесь! – Галактион, позвякивая цепью, обвитой вокруг тела, вознял иссохшую, восковой бледности руку. – Гроза грядёт! Покайтесь пока не поздно!

– Это что ж ты городишь, брат? – возразил Нечай, обескураженный тем, что монах отказывается от угощения. – Какая такая гроза и откуда? Самозванцу в Москве, по слухам, рыло набок своротили, чего ж ещё?.. Скажи лучше – гнушаешься нами?

Чернец, кажется, не слышал его, обращался к сидящим за столом с ухмылками на пьяных рожах гостям:

– Спасайтесь! Умолить нужно Заступницу, чтоб беду отвела! Храм надо об один день воздвигнуть в честь иконы Знамения Божией Матери!

– Где прикажешь? – с издёвкой спросил заметно осерчавший Нечай, расплёскивая медовуху из ковшеца. – Возле твоей кельи? Ух, и ловок ты! Чтоб все денежки тебе!.. На-кась, выкуси! Сиди, яко пёс, на цепи и не вякай!

Щелкунов, выставив вперёд своё немалое брюхо, попёр на чернеца, выталкивая его за порог.

– Одумайся, богатый человек! Ждёт тебя погибель лютая... Прогуляете город!

Галактион, отступая, споткнулся в сенях о порог и по крутым ступенькам крылечка скатился вниз. Ему помогла подняться девица. Заулыбалась, поплёскивая чёрными, похожими на Щелкуновские, очами: дескать, что ж ты, батюшко, на ногах не стоишь, но нахмурилась, сведя бровки к переносью, завидев, как чернец, подойдя к храму на площади, пал на колени, воздевая руки:

– Господи, прости неразумных и грешных!

Потом заплакал и побрёл к своей келье, волоча за собою по земле цепь...

Простые люди, прослышав про беду, чаще по одиночке, побаиваясь насмешек, подходили после к келье, и Галактион, предрекая кому – скорую погибель, а кому – чудесное избавление, подбадривал, призывал молиться о спасении души...

* * *

...Отец Андрей Введенский тоже, вдруг почувствовав себя способным сойти с места в леднике, приблизился к келье и склонился перед чернецом.

– Коль не отвергнешься веры, – услышал. – Ждёт тебя мученический венец!

НАШЕ ВРЕМЯ. ГЛАВА ПЕРВАЯ

Крестный ход почему-то задерживался, из церковных, окованных железом, врат всё никак не выносили большие золочёные лепестки хоругвей, и на колокольне старичонка-звонарь в одной рубашке, надувавшейся на худом теле пузырьём от ветра, продрог и озлобился вконец. Высунув в проём белёсую головёнку, потянул, как ищейка, ноздрями воздух, поперхнулся и спросил, будто петух прокукарекал:

– Иду-ут?!

Старушки-богомолки, после тесноты и духоты в храме отпыхивающиеся на лавочках на погосте, привёзшие их сюда на «жигулёнках» и иномарках сыновья-зеваки ответили ему нестройным хором: «Не идут!».

Звонарь на верхотуре затих, но сиверко пробирал его до костей, через недолго старик опять возопил тоненьким надтреснутым голоском. Услышав снова разнокалиберное «нет», звонарь яростно взвизгнул:

– Когда же пойдут...

И припечатал словечко.

Народ внизу на мгновение от изумления охнул, замер. Старушонки часто закрестились, молодяжка криво заушмылялась.

На паперть, наконец, вывалили из храма, тяжело ступая, колыша хоругвями, церковные служки, заголосил хор, тут-то старик ударил в колокола. Один, побольше, и, видно, расколотый, дребезжал, зато подголосок его заливался, словно бубенец. Звон был слышан разве что в пределах ограды: где ему – чтоб на всю округу окрест. «Язык» от главного колокола, который едва могли поворочать два здоровых мужика, валялся с тридцатых годов под стеной храма...

Крестный ход опоясывал церковь, священник кропил святою водой то стены, то народ, и о звонаре-охальнике все как-то позабыли.

А он нащупал дощатую крышку люка, открыл её и осторожно поставил ногу на верхнюю ступеньку винтовой лестницы. Прежде чем захлопнуть за собою люк, подставил лицо заглянувшему в окно звонницы солнцу, похлупал красными ошпаренными веками.

Звонарь был слеп, но по лестнице спускался уверенно, изучив на ощупь не только каждый сучочек на ступеньках, а и щербинки-метки в стискивающих лестницу стенах.

Слепого звонаря прозвали дедом Ёжкой, именовать же его на серьёзный лад Иннокентием считали недостойным, да и языку иному лень было такое имечко произнести. Дед Ёжка появился у церкви иконы Знамения Божией Матери в бесконечно сменяемой череде приبلудных бродяг, побирался первое время на паперти, и с особо щедрых подачек, как и другие убогие, гужевал напропалую в заросшем кустами овраге под церковным холмом, напивался до бесчувствия, бывал бит, но уж если и вцеплялся какому обидчику в горло, то давил до синевы, до хруста, насилу оттаскивали.

Нищие приходили и уходили, а Ёжка прижился – обнаружилась у него способность управляться с колоколами. Взамен за службишку слепой много не требовал, довольствовался углом в сторожке да тем, что сердобольные прихожанки подают.

Так прошло немало лет, и слепой звонарь стал необходимой принадлежностью храма. Откуда он да чей – выпытать у него не смогли, как ни старались. Трезвый он просто отмалчивался, а из пьяного, когда к нему решались залезть в душу, пёрли потоком такие слова, что святых выноси.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Домишко на краю церковного погоста устоял, уцелел. Только давно в него не заходили. Просела, проваливаясь, драночная крыша, забитые досками окна упёрлись подоконниками в землю.

Роман Ропшин без труда обнаружил широкий пролом в изгороди, ступил в бывший огород, скорее уж луг, заросший духмяным цветущим разнотравьем. Пробираясь к крылечку, старался не мять окропленные вечерней росой и никнувшие под её тяжестью венчики цветов; осторожно смахнув с приступка слежавшийся слой трухи, сел и с любопытством посмотрел на свой извилистый, темнеющий ямками с примятой травой след.

...И не было когда-то давно здесь этого лужка в помине, а чернели обыкновенные гряды, и он, Ромка Ропшин, докапывал последнюю из них. Обнажившись по пояс, бахвалился

ещё не успевшей одрябнуть после армейской службы мускулатурой, горделиво скашивал глаза на наколку на плече – девичью фигурку, но пуще-то поглядывал на Ольгу, ходившую по бороздам вслед за отцом с ведром картошки в руке.

Сергей Петрович Козырев остриём кола проминал в рыхлой супеси гряды ямки, чётко выдерживая расстояние между ними: и тут оставался верен себе бывший школьный математик. Усохший, со скрюченной спиной, с редким белым пухом, обметавшим голову, Сергей Петрович не утратил суровости учительского взгляда из-под низко нависших, всегда хмурых и тоже белёсых кустиков бровей – Ромка его побаивался. И когда парень, подустав, собрался закурить и, воткнув лопату в землю, вытащил из кармана пачку «Примы», старик строго кашлянул. Может, и без всякого умысла, но Ромка машинально скомкал полупустую пачку в кулак и спрятал за спину. Потом опомнился – не на перемене же за углом. Сигареты в пачке были безнадёжно смяты, и Ропшин, чертыхаясь, швырнул её в борозду и завалил землёй.

Ольга, бросая картофелины в ямки, только посмеивалась.

«На свиданье прибежал, а они меня пахать заставили. Ещё и насмехается... Знала бы, за что её Лёха на днях продал – не так бы лыбилась!» – возжаждал мести Ромка...

А оценил свою бывшую подругу Ромкин наставник в журналистике репортёр Лёха всего в стопку водки.

Редакционные деятели, под разными благовидными предложениями выскользнув из-под ока начальств, сбились в компашку и гуляли на квартире у одного пенсионера. Долго стоял дым коромыслом, но вот одни потихоньку убредли, иные «отключились»; остались лишь Лёха с Ромкой, самые молодые и стойкие.

Перед ними на столе среди разбросанных по нему хлебных кусков поблескивала гранями последняя стопка с водкой. Они оба пялились осоловело на этот стакашек и одновременно у обоих из тупого безразличия пробуждалась жадность.

И вот тут-то Ропшин, облизнув осадок на пересохших губах, предложил:

– Ты отдай мне Ольгу... за стопочку-то. Лады?!

Лёха согласно мотнул плешивой головой на длинной худой кадыкастой шее:

– Забирай! По наследству.

И цепко ухватил стакашек дрожащими пальцами, пока «покупатель» не передумал...

В Городке такой роскоши, как своя газета, не существовало, выходила она в райцентре; молодой журналист Ропшин мужественно мотался на рейсовом автобусе или на попутках каждый божий день взад-вперед. Первый год Ромка очень гордился своей работой: в автобусе, садясь, задирает нос, ревниво косился по сторонам – смотрит ли кто на него с почтением. И по Городку вышагивал, едва не налетая на встречные столбы.

Но то ли народ был без понятия, то ли Ропшин на рожу и фигуру не вышел, только относились все к его виду равнодушно, а в автобусной давке грубо пихали под бока локтями, и какая-нибудь старушенция могла запросто над ухом успешшего занять местечко Ромки противно зазудеть: «Вот ведь молодяжка! Здоровый лось, мог бы и место уступить!»

Ропшину, скучая, оставалось присматриваться к попутчикам. На утреннем и вечернем рейсах ездили почти одни и те же личности: кто на работу, кто учиться, и примелькались они Ромке быстро. Иногда появлялась незнакомая девушка. Высокая, рыжеватенькая, с правильными чертами лица, одеты она была скромно, неприметно, видать, и годики того требовали. Хотя заметные морщинки возле глаз миловидности ничуть не убавляли. Ромке захотелось с нею познакомиться, да вот как... Он парень застенчивый в этом деле. Когда приходилось общаться даже с ровесницам, и то краснел и пышкался. Да от судьбы не уйдёшь.

Однажды прижатый вплотную к незнакомке в автобусной давке, Ропшин отважился выдать из себя несколько слов и, заметив, что к нему прислушались, вовсе расхрабрился – набился девушку провожать. И по дороге не умолкал, нёс какую-то околесицу и неожиданно выяснил, что общих знакомых у них в редакции немало. Вспомнил Лёху среди прочих.

– Знаю, знаю... – тёплые пальцы коснулись запястья Ромкиной руки. – Меня Ольгой зовут.

Вот её-то и запродавал за стопку водки Лёха и тут же вылакал выторгованное, смачно зачмокал губами, довольный, взгляд его вконец одеревенел...

Промолчал Ропшин, не выдал дружка, да и Ольга неизвестно как восприняла бы такую «крутую» сделку, шуганула бы, может, самого с огорода, как козла несчастного.

Старик Козырев, похоже, не ведал про перекуры: Ромка, докапывая гряды, так умаялся, что язык на плечо чуть не высунул.

Уже темнело.

В это время приотворилась узорная кованая калитка в ограде церкви, вышел бородатый служитель в долгополом чёрном одеянии, с ним ещё двое мужиков в простой одежде. Разговаривая, они миновали козыревское подворье и расположились, полулёжа, на молодой травке на самом краю обрыва в песчаный карьер, где на дне подземные ключи наполняли озерцо. Карьер выжрал полбугра, на котором куполами и крестами белым кораблём высилась церковь, подобрался под стены ограды, так что заброшенная банька на задах домика Козыревых накренилась сиротливо, боком сползая в огромную ямищу.

Ропшин услышал тихое заунывное пение: пели все трое, бородач в рясе, басовито выводя непонятные слова, взмахивал руками, дирижировал. И тогда пот жгучей солью залил Ромке глаза, руки и спину заломило с непривычки, ревность ущипнула сердечко, когда заметил он, что Ольга прислушивается к певцам.

– Вот неработы! – парень, распаяясь, кивнул в их сторону. – Содрать бы балахон с того бородатика, а самого пахать сюда! Расхотелось бы песенки распевать!

Сказал, конечно, негромко, чтоб мужики не услышали, наткнулся в земле лопатой на камень и старательно заскыркал острием по нему, дожидаясь, что неразговорчивый Ольгин отец обязательно поддержит его в гневе праведном – старики-учителя все заядлые атеисты, и Ольга геройство достойно оценит.

Но Козыревы, отец и дочь, дружно взглянули на Ромку, как на придурка, и тотчас ушли оба в дом.

Ропшин потоптался – поперетапывался, психанул и помчался прочь...

...Сколько с того вечера минуло, лет двадцать без малого, и немногие бы узнали в сидящем на крылечке заброшенного дома человеку лопухого Ромку-журналиста – был новый настоятель Знаменского храма отец Роман Ропшин, от вечернего холода зябко кутавшийся в рясу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

У деда Ёжки появился напарник – Ропшин принял на работу нового дворника, известного в Городке «молодого» поэта Юрку Введенского.

По старой памяти...

Заходя в редакцию газеты, Юрка сожалел, что однажды неосторожно «расколосился» на семинаре местных дарований. На мероприятие приехали областные писатели и прежде чем усесться за банкетный стол решили обсудить творения пары-тройки человекочков. Успели они бегло прогледеть Юркины описы и предложили автору рассказать о себе.

И дёрнул черт Введенского «резать» за чистую монету:

– Вор я бывший, карманник. Четыре «ходки» имею...

Юрка неожиданно для себя увлёкся, живописуя свою прежнюю житуху, да и не удивительно было – солидные седовласые «члены» внимали ему, по-вороньи распяля рты, с интересом разглядывая его – маленького, суетливого, в чём только душонка держится, мужичка за пятьдесят с плешивой, дёргающейся в нервном тике головой и, как у мороженого окуня, глазами. Костюм в крупную клетку, позаимствованный на время у тороватого соседа, висел на Юрке мешком, брючины пришлось закатать, но всё бы ладно: и трёп, и внешний вид, кабы вошедший в раж Юрка не предложил кому-то поэкспериментировать с бумажником. Выну, дескать, не засекёте!

Все с испугом залапали карманы, облегчённо завздохали потом, запосмеивались, и Юрку за банкетный стол не взяли.

С той поры при появлении Юрки в редакционном коридоре бабёнки поспешно прятали сумочки, мужики на всякий пожарный пересчитывали наличность в карманах; и Юркины творения, со старанием переписанные им от руки ровным школьным почерком, вежливенько, холодно отклоняли, морщась:

*Поезд уходит в даль заревую,
Колёса мерно стучат.
Пассажиры запели песнь боевую,
Над крышей вороны кричат.*

– Чё он припёрся-то, тут у нас люди приличные ходят! – ворчала секретарша.

Введенского, в какой бы кабинет он с робостью не заглядывал, везде встречали молчаливые, ровно кол проглотившие

сотрудники; привечали его только в репортёрской клетушке с обшарпанными, прокуренными обоями на стенах и колченогим шкафом, наполненным порожними бутылками, Лёха с Ромкой. Угощали куревом и, слушая какую-нибудь Юркину байку, понимающе кивали. Юрка оставлял свои произведения и не видел, уходя, как их тут же отправляли в «корзину» и смеялись: «Всё прикольной с ним!»

Как-то Введенский заявил вполне здраво: «Буду в корнях своих копать!», но доброе его намерение, как обычно, пропустили мимо ушей...

Юрка до поры верил в воровскую судьбу, хоть и играла она с ним, как кошка с мышкой.

После детдома, «ремеслухи», втыкая где-то на заводе, он влип за пьяную драку: коротышка, сухлец, чувствуя, что забивают его до «тюки», нащупал на полу железяку и всадил её в здорового верзилу. Тот, слава Богу, оклемался в больнице; Юрка же, мотая срок, не любил вспоминать, за что его получил, простым «бакланом» не желал прослыть.

У него иной «талант» в полный цвет вошёл, за какой в детдоме крепко лупили да всё равно его не выбили.

После лесоповала на «зоне» возвернувшись на волю Юрке вкалывать особо не захотелось. Но сытной жратвы, вина, баб властно требовал его отощавший изрядно организм. Введенского понесло мотаться по разным городам, благо вокзалы, базары, общественный транспорт существовали везде. Он наловчился «работать» мастерски: обчищал карманы у зевак, ловко разрезал отточенной монетой дамские сумочки и долго не попадался. Жаль вот добытые деньжонки мгновенно таяли. Когда особенно фартило, Юрка, приодевшись, пытался кутить, но быстро спускал всё до последних порток, да и милиция уже висела на «хвосте» – унести бы ноги. Бывало, не успевал...

Между «отсидками» Юрке удавалось заводить женщин, но всё попадались такие, какие его не дожидались.

В лагерях в большие авторитеты Введенский не выбился. В «шестёрках» его не обижали, хоть и был он безответного и безобидного нрава.

В лесу, где зеки валили деревья, вдруг замирал возле поверженной в снег сосны, задира к небу исхудалое, с свалившимися щеками лицо и устремлял ввысь оторванный от всего взгляд вытарашенных полусумасшедших глаз. Юркины

кровоточащие на морозе губы едва заметно двигались, что-то шепча. Порою Юрка падал на колени, прижимая сложенные руки к груди.

– Придуряется! – говорили, жёстко усмехаясь, одни и норовили подопнуть его под бок.

– Молится! – прятали тоскливые глаза другие, что послабже, поизнурённой.

Случалось, Юрка лез к какой-нибудь забубённой головушке – угрюмому, зыркающему исподлобья «пахану», расспрашивая того вкрадчиво-участливо, пытаясь затронуть что-то потаённое, бережно хранимое в глубине души. И в ответ обычно получал зуботычину или в ухо, отлетал пришибленным кутёнком, но самый лютый громила начинал потом тосковать, о чём-то задумываться.

За Юркой прочно закрепилась кликуха Поп. Вот за это самое...

После последней «отсидки» Введенского потянуло неудержимо в Городок, на родину, туда, где пуп резан. Он как-то сумел худо-бедно обустроиться в общаге, не запил, не воровал, работал где придётся и кем попало, даже стишата сочинять брался.

Видели часто его стоящим на службе в церкви.

Юрка молился, внутренне радуясь чудесному совпадению: если в самом деле так, то конец его безродности! В этом храме когда-то служили священники братья Введенские, расстрелянные в тридцать седьмом. От младшего брата Аркадия осталась куча ребятишек, которых власть рассовала по разным детдомам. А вдруг... он один из них?! Юрка тем и тешился, верил и не верил.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

...За дурацкую выходку на огороде Ольга над Ромкой подтрунивала – ишь, какой герой выискался, но больше выговаривала:

– Ляпаешь, не думая. Балахон с попа сорвать да... За кого тебя мой отец посчитал? За идиота? Теперь на моих родителей не обижайся!

Ромка, вышагивая позади Ольги по узкой, через поле, тропинке, сердито сопел. Что верно, то верно. Два «божьих одуванчика» нынче покосились на него несмила – наверняка старик рассказал обо всём старухе. Он, не здороваясь, хмуря

брови, убрёл на улицу, а Варвара Андреевна, поджав губы, никак не выходила из кухни. Рядом, в узком проходе прихожей стоял большой сундук, на котором Ромка с Ольгой просиживали не один вечерок. Старики в передней смотрели телевизор, а парень пытался поцеловать Ольгу и потискать. Но она была не как все девки – Ромкины ровесницы в городе: отстранялась, поглядывая насмешливо, и на улицу гулять с Ромкой не шла:

– Стыдно мне с тобой, ты ж такой молоденький...

Сидеть в комнате бубень бубнем Ромка робел, старики посмеивались даже:

– Вы как горюны раньше на посиделках!

– Кто такие?

– А те, кому родители встречаться не разрешали. Вот они по тёмным уголкам и жались...

Похоже, нынче Варвара Андреевна собралась вспомнить старое время, заговорила с Ромкой назидательным учительским тоном, точно отчитывала у классной доски.

– Давно собиралась вам сказать... Вы бы, молодой человек, другую партию себе подыскивали. Ольга вас намного старше, институт заочно оканчивает, ей сейчас не до вас. И вам надо учиться, а то, что от вас проку? В подоле только принесёт...

Тут старуха прикрыла ладошкой рот, сообразив, что сморозила лишнее. Ольга вспыхнула и выбежала на улицу, Ромка – следом.

– Не поглянулся ты моим, – вздохнула Ольга, когда Ромка нагнал её, и они побрели к домишку возле церкви. – Не Лёха... Услужливый, обходительный, приедет – мамочка сама за бутылкой в магазин бежала. Мне все подружки завидовали. Семь лет мозги пудрил... А увидала случайно его с этой, чернявой, и в больницу даже слегла.

Ромка знал, что за «чернявая» бегала за Лёхой... Докторша. Маленькая, кавалеру до подмышки, «наштукатуренная» хохлушечка в узеньких брючках, она подкарауливала Лёху чуть ли не у нужника, в редакции посиживала в кресле, закинув ногу на ногу, и, попыхивая сигареткой, разглядывала мельтешащую перед ней газетную братию пронизательными чёрными глазами.

Познакомились они с Лёхой на празднике; потом Лёха, принаряженный в «тройку», повёл свою пассию в местную ресторацию. Врачиха – дальше: затянулась к нему домой и своей

непринуждённой позой и сигареткой в кокетливо вытянутых пальчиках шокировала Лёхину полуинтеллигентную мамашу:

– Кого привёл?! Чтоб ноги её здесь больше не было!

Леха как только не уворачивался, пытаясь скрыться от новой подруги. Ромке надоело отвечать за него на телефонные звонки; в городе, едва завидев её, Лёха задавал стремительного стрекача, выписывая длинными ногами замысловатые кривули по закоулкам.

В редакции кто подсмеивался над этим «романом», кто сочувствовал. Лёха всем отвечал, обиженно вытянув титькой губы: «Женить на себе хочет!». Один лишь Ромка завидовал втайне: за ним никто ещё так не бегал.

Кончилось всё тем, что чернявенькая вышла замуж за русоволосого доктора и укатила с ним в другой город; Ольгу Лёха презентовал, как известно, Ромке за стопочку, и теперь успокоенно посиживал он в кабинете, вытянув длинный нос и временами с блаженством почёсывая раннюю плешь...

Возле церкви, когда подошли к ней Ольга и Ромка, было тихо. Солнце, багровея, ещё висело над пиками дальнего бора, уже казалось, что жильцы деревушки при погосте тоже уснули вечным сном, как и те, что в церковной ограде. Робко потрескивали кое-где в начавшей сыреть траве кузнечики, да какая-то птаха не ко времени запищала в кроне вековой липы возле козыревского домика и тотчас испуганно смолкла.

Приоткрыв скрипучую калитку в ограде, Ольга провела Ромку внутрь; они пошли по мощёной стёртыми каменными плитами дорожке к храму, остановились у большого деревянного креста возле стены.

– Бабушка... – с грустью кивнула Ольга на аккуратный, убранный цветами, одинокий холмик.

– А дед? – как-то само собой слетело у Ромки с языка.

Ольга в ответ посмотрела не то удивлённо, не то с непонятным смущением:

– Ладно. Пойдём!

Ромку она оставила ждать на ветхом крылечке домика, сама же вернулась вскоре с деревянной шкатулкой в руках.

– Смотри! – Ольга, отомкнув крышку, порылась в пожелтевших от времени бумагах и вынула блёклую фотографию на картонной, украшенной позументом, корочке. С неё на Ромку пристально глянул немолодой священник в широкой чёрной рясе и с крестом на груди.

– Вот он, дедушка мой Андрей! Говорят, перед войной расстреляли его... Ты только дома у нас о нём не вспоминай и не спрашивай, – заметив, что Ромка заинтересованно изучает фотокарточку, предупредила Ольга. – У нас в семье об этом говорить не принято.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Сергей Петрович Козырев за многие годы научился подавлять в себе всякое, даже малейшее воспоминание о тесте своём, священнике Андрее Введенском. И в семье о нём была истреблена всякая память; дозволялось лишь упоминать о нём матушке попадье, и то, помянувши невзначай, она, косясь на зятя, испуганно замолкала, пусть и была в его доме нечастой гостьей, а жила – поживала одинёшенька в дряхлой хибарке на краю церковного погоста.

«Чтоб не дразнили нас поповским отродьем, не утыкали тем дочь нашу!» – твёрдо говорил Сергей Петрович жене, и та соглашалась с ним. Надо было, она и от отца родного отреклась публично, когда его арестовали, и ушла «самоходочкой» к молодому учителю точных наук, влюбившись без памяти...

Сергей Петрович, хоть родился и вырос в соседней деревне, быкам, как и все парни, хвосты накручивал, но потом учился в губернском городе и прикатил в бывшую церковно-приходскую школу ярким атеистом. Громить и разрушать было уж почти нечего: опустошённый загребущими руками храм стоял закрытый по «просьбам трудящихся» на крепкие замки, колокола со звонницы сбросили, и осколки их валялись везде. Приезжали такие граждане, что поглядывали, кривя рожи, и на кресты, но сдёрнуть их с куполов охотников пока не находилось.

Сергей Петрович тоже поглядывал, но пуще – на юную поповну Вареньку.

Просторный поповский дом отдали под школу, а прежних хозяев выселили в убогий флигелёк.

Козырев из окна верхнего этажа часто видел хлопочущего возле домишка священника отца Андрея. В поношенном зипуне, в старой шапке, напыленной на длинную гриву седых волос, топорщившейся, подёрнутой куржаком инея бородой, он напоминал скорее простого мужика из ближней деревни, чем «паразита и мракобеса». Мужики и бабы отрывали его от домашней работы, приходили с заказами пошить

сапоги, и тогда допоздна светился тускло в крайнем окошке избы огонёк.

«Прикидывается! Трудяга-а! – решал, неприязненно косясь на попа при встречах в школьном дворе, Сергей Петрович. – Какой он сапожник!».

Ещё больше озлобился на отца Андрея Козырев после того, как тот, заметив, что учитель выписывает круги около его дочки, а та постреливает лукаво в ответ глазами, остановил однажды на подтаявшей тропке Сергея Петровича:

– Вы бы, мил человек, к моей дочери не приставали, оставили в покое. Ей-ей, не пара она вам.

Отец Андрей говорил тихо, но твёрдо; в голосе его зардевшемся Козыреву почудилась скрываемая насмешка. Изумившись такой наглости, Сергей Петрович отступил в сторону с тропинки, провалился по колена в снег и долго провожал злыми глазами согбенную спину священника.

«Да как он может?! Мне! – забурлило всё в Козыреве, руки нервной дрожью затряслись.

Ещё недавно, на днях, секретарь комсомольской ячейки дал «проборцию» Сергею Петровичу: «С поповной тебя видали. Ты, паря, смотри – чуждый элемент... Как бы чего!»

Козырев встрепенулся: «Да она своя в доску, наша!»

«Своя-то, своя. Ладно уж, дело молодое, – не унимался секретарь. – Батя-то у неё, сам знаешь... Этот нашим никогда не будет».

Что верно, то верно. Сергей Петрович озаботился: даже встречаясь тайком с Варей, думку свою не оставлял... То там выявляли «врага народа», тот тут. И из людей не последних, уважаемых, а этот попишко преспокойно топтал землю. Заловить бы его на чём-нибудь «таким», не может быть, чтоб он «перековался»!

Сергей Петрович сон потерял, чернеть начал и... чутко услышал как-то краем уха от ребятешек в школе, что батюшка крестит малышню по-тихому, ходя по крестьянским избам. Ребяточки в младшем классе сплошь числились нехристями, но когда Козырев ласково и настойчиво стал допытываться у них о крещении, сознались почти все: «Приходил батюшко, в стужу даже на печи крестил.»

Козырев, закрывшись в учительской, кричал от удовольствия, обстоятельно сочиняя бумагу. Куда надо...

И ждать долго не пришлось. Спал он по-прежнему неспокойно и ночью услышал за окном во дворе шум подъехавшего автомобиля; при слабом лунном свете разглядел несколько теней, метнувшихся к крылечку поповского флигелька. Спустя какое-то время, хлопнула дверца «воронка», заурчал мотор. Сергей Петрович, всматриваясь в полоски света, выбивающиеся из-под занавесок на окнах, различил, скорее угадал, женские причитания.

«Помог тебе твой боженька? Защитил? То-то!» – он, торжествуя, с визитом к Введенским решил всё-таки погодить до утра.

Поутрянке, завидев заплаканные красные глаза попадьи и Вари, Козырев почувствовал себя гаденько. Это ночью, лёжа на кровати, он злорадствовал, пуская в потолок кольца табачного дыма, а теперь жался в уголку, помалкивал, избегая лишней раз взглянуть на мать с дочерью.

– Ведь он был там, у них, – говорила, вытирая платочком слёзы, матушка. – В леднике едва не заморозили, чтоб от веры отрёкся. Привезли: не чаяла, что поднимется. Всё чахоткой маялся, грудь-то отбили ему, в последнее время бродил еле. Хоть бы зло кому делал!

«Знаем, чего он делал и какое зло!» – усмехнулся про себя Козырев и, посмотрев мельком на Варю, вдруг обмер, аж холодный пот шибанул! «Теперь же она не только поповская дочь, отца осудят – враг народа! Тогда... – лихорадочно пытался сообразить Сергей Петрович. – Тогда... Ехать срочно надо к брату в Ленинград, давно зовёт, и Варю сагитировать с собою. Не поедет, мать одну побоится оставить? А почему бы и нет. Пока они растерянные да раскисшие, действовать надо. А потом нужно будет, так и от отца откажется, уломаю!»

Варя поглядывала на Козырева сквозь слёзы с надеждой и мольбой, и он не стал медлить...

Она и вправду слабо запротестовала: «А мама как же?», но Сергей Петрович, на крылечке бережно обнимая её за плечи, успокаивающе нашёптывал: «Обустроимся, к себе заберём. А там, может, и... отца твоего отпустят».

До матушки не скоро дошло, что хотят от неё дочь с учителем: «Может, вы, Сергей Петрович, и на самом деле желаете для Вари как лучше... Только замуж-то так не выходят, и благословения родительского нам с батюшкой вам не дать. Бог вам судья!»

Вроде бы всё так и сбылось, как задумывал Козырев... Одно только не укладывалось – тянуло постоянно на родину. Казалось, в чужом городе прижились, блокаду перебедевдали. После войны Варвара каждое лето ездила проводить мать, и, когда подходил к концу её отпуск, Сергей Петрович всякий раз начинал не на шутку беспокоиться – как бы там, в Городке, жена не осталась. Однажды сам составил ей компанию, и... надумали в Городок переселиться. А там – долгожданная радость, чего уж не чаяли в чужом месте: дочка родилась.

Тёща-попадья никуда не делась из флигелька возле церкви, жила-поживала в нём, покосившемся и под худой крышей. Старушонка, пока была покрепче, возилась с грядкам в огороде около пепелища сгоревшего в грозу поповского дома-школы. Сергей Петрович – любя уж не любя тёща! – разработал весь участок, сменил изгородь, домишко, как мог, поправил: дело не вновь, из деревенских. Но принимался он за всё с каким-то злым остервенением, набычась, и во время трудов побаивались с ним жена и тёща даже заговаривать.

Была тому причина. Вернувшись в Городок, Козырев ожидал увидеть от Знаменской церкви руины или зачуханный склад, а тут храм, как в прежние времена, сверкал нетронутой белизной на знакомом взгорке, трезвонил уцелевшим колоколом, и стекались к нему богомольцы.

Сергей Петрович хотел в тот же день уехать обратно, но впервые взмолилась жена, прежде послушная во всём: «Останемся, не могу больше...». И через силу согласившись, Козырев попытался себя успокоить, тешась – всё равно храм, рано ли поздно, прикроют, коммунизм же строим. Взясся даже в школе лекции по научному атеизму читать и проводил их с жаром, не только чтоб для «галочки» языком отбрякать.

А в церковь и вправду тянулись лишь старушки-богомолки, народ помоложе близко боялся подойти, а несмышлёнышей любопытных милиция в компании с комсомольцами вылавливала.

«Скоро всё равно карачун вам!» – взирая на кресты, торжествовал Сергей Петрович. Он, поначалу собираясь взять огород в другом месте, передумал, дожидаясь, специально копался на тёщином. И не заметил, как дожил до пенсии, давно схоронил тёщу, а тихая потаённая жизнь в храме, куда ни разу не вошёл, продолжалась...

Как-то, укрепляя подгнившие брёвна в сеннике, Сергей Петрович обнаружил тайничок, а в нём – шкатулку. На толстом слое пыли и древесной трухи, набившихся за многие годы в резных узорах на крышке, остались видны недавние следы чьих-то пальцев.

«Не иначе старая что-нибудь спрятала, – помянул покойную тещу Козырев. – Но кто лазил сюда недавно? Жена? Так она не ходит, чтоб сердце, говорит, не травить. Неужели Ольга? Кому больше? Завещала, небось, старая...»

Отомкнув простенький запорчик, Сергей Петрович едва не выронил шкатулку из рук: с поплёкшей фотографии глянул на него отец Андрей.

– Всё-таки опять нашёл ты меня! – Козырев, сам не замечая, говорил вслух. – Всю жизнь я бился, чтоб память о тебе уничтожить! Ну, ничего, это поправимо...

На участке дымил костёр, Сергей Петрович сжигал разный накопившийся хлам. Подкинув в теплину ворох сухой картофельной ботвы, он бросил во взметнувшееся пламя, не закрывая, шкатулку. Деревянные её стенки пыхнули легко и весело, огонь в мгновение ока слизнул скорёжившуюся ненавистную фотокарточку.

Как и не бывало...

Не почувствовал Козырев облегчения, стало казаться ему, что совершил он опять, как когда-то давно, просто-напросто обыкновенную подлость. Прежде гнетущее это ощущение удавалось заглушить, схоронить где-то внутри, убеждая себя, что так надо было. Он даже, пока молод был, и гордился. И старательно убивал и вытравлял всякую память об отце Андрее не только в себе, но и в жене, паче – в дочке. Под спудом многих прожитых лет уж ничто не ворохнётся, не отзовется смутой в душе, но увы...

Теперь Козырев, заметно сникший, боялся заглянуть своим домочадцам в глаза, пропадал больше на огороде, где всегда находилось какое-либо дело, а за ним можно было ненадолго забыться.

Скоро и здесь покоя не стало – что-то надломилось в железном хребте покорной Привычности: Сергей Петрович, будучи на пенсии, уловил это не вдруг. Ожил, повеселел тихий, доселе незаметный храм Знамения, со звонницы его, прежде безголосой, залились колокола, и толпы людей, взрослых и малышни, устремились принять святое крещение.

Козырев, видя всё это, занемог...

Из последних сил он притащился однажды на огород и в то место на пустыре в углу, где сжёг шкатулку и которое суеверно обходил, воткнул слабеющими руками, озираясь, сколоченный из деревянных реек крестик.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

У Ропшина в Городке оставалось немало знакомых, одноклассников, дальней родни; с кучерявой чёрной бородкой его узнавали и не узнавали. Он, разговаривая с кем-либо, всё пытался обиняками, вокруг да около, выведать об Ольге, а напрямую спросить стеснялся. Ещё в автобусе, подъезжая к Городку, о ней первой вспомнил.

Ропшин увидел её в храме неожиданно, в воскресенье, когда правил службу. Подавая прихожанам крест для целования, он случайно бросил взгляд к выходу, в притвор, и там, в сторонке от галдящих возле свечного «ящика» старушонок, заметил женщину, на кого-то удивительно похожую. Вот только платок, неловко повязанный, надвинутый на самые брови, мешал узнать... Ольга носила либо беретик, либо шапочку. Так это же она! Только бы не ушла!

Ропшин, волнуясь, торопливо снял облачение, натягивая на голову скуфейку, вышел из храма. То, чего он боялся, не случилось: Ольга стояла у калитки в ограде, уже простоволосая, щурилась на высоко поднявшееся солнце. Ждала. Обернувшись, улыбнулась одними уголками губ, всё такая же, как и прежде, разве что тоненькие морщинки возле глаз собрались сеточкой, и улыбка получалась натянутой и грустной.

– Тебя и не узнать! Здравствуй, батюшка! – сказала она. Ропшину почудилось – излишне взбодрённо. Ещё он приметил – насмешливые огоньки в Ольгиных глазах оставались прежними, только стали холоднее.

– Здравствуй... – он притронулся к Ольгиной руке, робко сжал тонкие хрупкие пальцы.

– Что, пойдём? – кивнула Ольга за ограду. – Проводишь! Или нельзя вам?

На тропинке, спускающейся с холма в низину к Святому роднику и потом дугой, через поле, выходящей на большак, по которому спешили обратно в Городок богомольцы, было безлюдно.

Шли молча. Ропшин старался идти рядом с Ольгой, но она не уступала дороги. Оставалось брести позади и глядеть ей в затылок с завитками русых волос, скакать же по обочине в долгополой одежде немного радости.

– Ты, значит, сюда служить... Как до такой жизни-то дошёл, поделился бы! – Ольга, наконец, обернулась, и было не понять – с обычной насмешливой колкостью спросила или на полном серьёзе.

– Тут в двух словах не расскажешь, – замялся Ропшин и ухватился за спасительную соломинку: – А ты сама как живёшь?

– Одна я. – Ольга сухо поджала губы, отвернулась и ускорила шаги.

– Постой! Когда ещё увидимся?

– Зачем? – Ольга остановилась на развилке тропы с большим.

– Расскажу о себе и про это – тоже! – Ропшин посмотрел на белеющий на холме храм. – Посидим у Алёнкина омута, как раньше бывало. Есть что вспомнить.

– Ладно. – согласилась Ольга, мельком заглянув в просящие ропшинские глаза. – Не переживай. Давай завтра!

«Какой была, такой и осталась!» – Ропшин провожал её взглядом до тех пор, пока она не скрылась за пригорком.

Полумальчишеская давняя любовь, напрочь было схороненная за прошедшие годы, затеплилась, встрепенулась в сердце, напомнила о себе. Не забылось выстраданное и выболевшее...

...Лёха, покинутый новой сударушкой – врачом, принялся тогда посылать покаянные письма Ольгиной матери; та, завидев Ромку, уже не только скрипуче советовала ему подыскивать другую «партию», а смотрела волком. И Ольга сама старалась выпроводить юного кавалера со свидания пошустрей, бывало, и не сказывалась дома. Потом вдруг, молчком, укатила с подругой отдыхать по турпутевке, а когда вернулась, обрадованному соскучившемуся Ромке, холодно чмокнув его в щеку, хмурясь, сказала:

– Пойдём-ка прогуляемся... Поговорить надо.

До окраины Городка они прошли, как обычно, на «пионерском» расстоянии – так Ольга Ромку принародно ходит приучила; шагая по полевой дороге, она трудно подбирала слова:

– Ты не обижайся только... Ты для меня вроде развлечения был, и Лёхе мне поднасолить хотелось. Чтоб побесился,

помучался... Может, вернётся? Семь лет ведь с ним, семь лучших лет! – Ольга вздохнула. – Но вернётся – всё прощу! Порода, видно, у нас такая – однолюбки! Ты уж извини...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Девчушка лежала на боку на асфальте, поджав к животу ноги в дешёвеньких джинсах и неестественно вывернув кисти рук с длинными тонкими пальцами с посиневшими заострёнными ногтями. Соломенные, стриженные в «скобу» волосы, рассыпаясь с затылка, уже стали приклеиваться к луже застывшей крови. С белого, как мел, лица смотрел незряче-жутко застекленевший, с уплывающим под веко зрачком, удивлённый глаз.

Ропшин со своими думками спешил домой из редакции областной «молодёжки», где работал немало лет после переезда из Городка, на кучу народа на перекрёстке не обратил внимания, хотел просунуться сходу, чтоб перебежать улицу и увидел...

Девчушке, похожей на подшибленную камнем птичку, было не больше 14–15 лет. За обочиной валялся искорёженный мотоцикл, и где-то далеко обезумевший шофёр гнал грузовик с яркими красными пятнами на борту кузова. По краю дороги взад-вперёд бродил, волоча ушибленную ногу, высокий парень в кожаных штанах и куртке, тербил в руках мотоциклетный шлем и бормотал что-то вполголоса. Отбросив «шлемак», парень упал на колени, воздел руки и, прокричав протяжно и страшно, обхватил голову, упал ничком, прижимая лоб к разогретому за день солнцем дорожному полотну.

Наехали, сверкая мигалками, машины ГАИ, «скорой». Ропшин, трясясь, как в ознобе, побрёл куда глаза глядят. Девчонку эту он видел вчера в магазине у перекрёстка, столкнулся с нею в дверях. И вот...

Тротуар оборвался, под ногами оказалась усыпанная прошлогодней жухлой листвой тропинка с выползающими кое-где на её поверхность узловатыми корнями деревьев, длинной задичалой аллеей тянувшихся вдоль берега реки. За гущей свежей зелени кустов зажурчал, забулькал взбудораженный недавним паводком речной плёс.

На взгорке среди невзрачных нежилых развалюх высился, пестрея выщербленным кирпичом в стенах, храм без куполов. Пустые провалы окон пугающе чернели. И тихо было кругом,

лишь пересвистывались в кустарнике вечерние птицы, долетающие отголоски городского шума безнадежно гасли в кронах вековых лип.

Роман пробежал мимо этого места не раз и не два и не обращал особого внимания: мало ли было в областном центре порушенных, приспособленных на скорую руку невест под что, церквей. И здесь в прежнее время коптила небо фабричка валяной обуви, пыхала дымом труба кочегарки, торчащая из алтаря.

Ропшин, преодолев кучу мусора, пробрался к окну нижнего этажа и отшатнулся от шибанувшего в нос едучего тяжёлого запаха невыветрившейся канифоли и подвальной заплесневелой сырости. Он с надеждой поднял глаза, увидел лестницу и, рискуя загреметь с гнилых ступеней, стал подниматься по ней, карабкаясь почти на четвереньках.

Внутри храма был розовый мягкий полумрак: ещё не закатившееся солнце щедро засылало лучи в двойной ярус высоких окон, и изъеденные кислотными парами голые кирпичные стены не казались мрачными, а словно бы светились теплом изнутри.

Роман осторожно ступал по храму, звуки его шагов отдавались где-то вверху гулкими отголосками; оттуда же доносилось воркование голубей, хлопот крыльев. Ропшин попригляделся и различил под самой крышей остатки лепных украшений: в углах ангелочки, надув забавно щёки и топорща крылышки, норовили слететь с места да никак не могли. На своде сквозь осыпавшуюся грязно-серую побелку проступал лик. Роман, задирая до боли в шее голову, долго разглядывал поначалу вроде бы тёмное пятно, но вот разобрал черты лица, и показалось оно на кого-то похожим, даже знакомым. Ропшин вспомнил старую фотографию у Ольги в руках, которую она выносила украдкой от отца. Схожи были лики неизвестного Роману святого на фреске и Ольгиного расстрелянного деда-священника...

Допоздна бродил Ропшин по храму, останавливался, вслушиваясь в его гулкую тишину, и под скрывающимися в вечернем сумраке сводами чувствовал в душе сходящее откуда-то с выси успокоение. Отступило, оставляя в покое и зарубцовываясь, запекаясь на сердце, потрясшее Романа видение нелепой, ужасной смерти. Храм, будто огромный прочный колокол, защищал со всех сторон...

Ропшин знал теперь, куда ему идти в горький час беды или даже просто растерявшись в жизни.

Обкомовские комсомольцы, в пламенных речах костыми готовые лечь за дело и процветание родной партии и народа, чуть припекло, шустро и молча разбежались заниматься прямо противоположным тому, к чему призывали простодушный молодняк. Кое-кто из них, поглупее, угробивший себя в засто- льях и оргиях на загородных дачах, пошёл орать на углах сре- ди нищих стариков и размахивать красным флагом. Никому не нужная газета – «молодёжка» была на предсмертном изды- хании; Ропшин с горькой усмешкой попрощался с последним фанатиком – её редактором, объявившим в порыве отчаяния рассмешившую всех голодовку...

Он верил – Бог не оставит.

...Ольга слушала рассказ Ропшина внимательно, в конце улыbnулась грустно:

– Я бабушку свою вспомнила... Она меня ещё маленькой потихоньку от отца в церковь водила, учила креститься, по- клоны бить. А дома... ни иконы, ни крестика, и отец при бабуш- ке сам у себя спросит: что, мол, поп в церкви делает и отве- тит – дурака валяет. Так-то и жили!..

Ольга всё-таки пришла в условленное место: на бережок Алёнкиного омута.

Ропшин, вытащив из травы оставленную половодьем до- ску, пристроил её на валунах – ладная получилась скамеечка, да ждать на ней довелось долго. Он уж клял себя за необду- манно назначенное свидание – вот искушение-то, измучиться можно! Набрав в горсть галечника, Ропшин бросал камешки, стараясь достать до середины омута, смотрел на расходящи- еся по поверхности воды торопливые круги и не расслышал даже, как подошла Ольга.

– Ты и в гражданском неплохо смотришься! Солидный дя- дечка! – привычно уколола она, пристраиваясь на краешек скамеечки.

Ропшин вспомнил прошлый, скомканный и с недомолвк- ами, разговор и стал рассказывать о себе: обещал...

– А фотография деда твоего, та что в шкатулке. сохрани- лась? – спросил он после недолгого молчания у задумавшей- ся Ольги.

– Нет, – покачала она головой, – отец нашёл и сжёг. Перед смертью признался маме. Я всё не понимала: почему он так

деда Андрея ненавидел, а оказывается вот что... Он сознался, что деда-то «сдал» в «тридцатых», донос написал. Теперь мучился, прощения просил то у мамы, то у деда, безвинно убиенного... Мама не в себе стала, заговаривается. Догадывалась раньше да страшилась спросить. Вдвоём с ней и живём.

«Что же Лёха ваш к вам не возвратился...» – с проснувшейся некстати застарелой ревностью мстительно подумал Ропшин...

...Незабвенного Алексея Сергеевича он встретил, вскоре по приезду заглянув на прежнюю работу в редакцию «районки». Лёха, изрядно пооблезший, всё в том же костюме-тройке и при пёстром галстучке, отнёсся к встрече радушно-деловито: разговаривая, вроде бы поблёскивал с интересом глазами, но и, часто потирая лоб рукой, многозначительно собирал губы в «титку», мыча. Ропшин догадался, что это он интервью берёт, сейчас за ручкой и блокнотом потянется, если диктофон втихаря ещё не включил. От встречных, о себе, вопросов Лёха искусно уходил, увиливал, и вскоре Ропшина потянуло побродить по другим кабинетам в поисках знакомых.

Он узнал, что Лёха остался один, как сирота казанская, подкармливался то ли у дядьки, то ли у тётки, но свою манеру кружить возле бабёночек не забросил. Теперь были они, конечно, поплоше и с детками, и, порхавшего возле них мотыльком Лёху, разнюхав, что он – ни рыба ни мясо, скоро прогоняли.

С Ропшиным Лёха распростился так же, как и встретился: ни обрадовался, ни огорчился...

– Пора идти! – Ольга зябко передёрнула плечами и встала.

Едва закатилось солнце, и с реки потянуло свежим ветерком; Ропшин тоже продрог в лёгком пиджачке.

– Прости, что исповедалась. Легче своему-то, чужому бы не смогла. Когда уж под пятьдесят, а жизнь проходит... Не провай!

Ольга торопливо пошагала прямо по росной холодной траве. Ропшин, топчась на берегу, то смотрел на чёрную гладь омута с закрывавшими свои лепестки и уходящими на ночь под воду кувшинками, то следил за удаляющейся одинокой фигуркой Ольги. На сердце разливалась жгуче запоздалая жалость к ней, больше ничего.

Грехи отцов падают на детей.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Юрка с дедом Ёжкой вроде б и подружились: один наверху звонит, другой внизу метёт. Слепой вначале спросил у Юрки – чей да откуда, и тот вилять не стал, про былую житуху выложил без утайки.

Дед Ёжка хмыкнул одобрительно: ночуй, если хочешь, за компанию в сторожке всё веселей. И своровать надумаешь, так нечего. Введенский окинул взглядом горенку, и дед Ёжка, видно, учуял это, затрясся в мелком смешке, хлупая ошпаренными веками: знал куда гость смотрит – в передний угол.

– Иконки-то ценные, старые. Про то хозяйка прежняя сказывала, помирая, а ей их попадья Введенская отдала. Родня-то хреновая, взять боялись... И ворьё не добралось: сторожа по «кумполу», замки на дверях церкви выворотили, а ко мне заглянуть не додули. Вот ты, паря, можешь их стянуть али подменить. Я слепой, не увижу!

Юрка бы в другом месте вспылит, убежал, хлопнув дверью – кому любо, когда старым в глаза тычут. Но он сидел, уставясь на тёмные, в блестящих окладах, лики. Опять Введенских помянули...

И старик почувствовал, что болтает лишку, словно зрячий, безошибочно нашёл и прижал к столешнице Юркину руку.

– Не обижайся, паря, шуткую я. Голос твой мне вроде знаком, часом не встречались где?

Юрка недоумённо пожал плечами, и слепой опять будто увидел это:

– Ну-ну! Я чё вспомнил-то... В тридцать седьмом я в команде исполнителей приговоров служил. Насмотрелся, как смертный час человек встречает. По-всякому... Попало нам в «расход» расписать двоих братьев-попов. Повёл я своего в подвал, поставил к стенке. Спускаю курок – щёлк! Осечка! Ещё раз – опять! И в третий! Что такое, поджилки затряслись! Поп оборачивается ко мне – здоровый такой дядька, молодой, – и говорит: «Видишь, служивый, Господь меня хранит, отводит, час мой, чаю, не пробил». Я таращусь на него, как дурак, а поп-то на меня надвигается, пальцы вознял: благословляю тебя, палача моего! И тут я скумекал «барабан» у нагана прокрутить и все остатные пули в эту наглую рожу вlepил. Рухнул, как миленький! Но я себя чаял – всё, карачун схватит! – дед Ёжка затренькал неприятным трескучим смешком и потрогал пальцами свои изуродованные веки. – Меня

Бог по-другому наказал... И кабы не это, лежать бы мне давно в земле сырой. Исполнителей наших всех в «расход» тоже пустили, следом за ими же убиенными. А я вот, хоть и худо, да живу: ни тех, ни других до того свету встретить не боюсь. Никого не осталось, лежат-полёживают... У тебя, паря, голос с тем попом схож, чё я вспомнил-то, – закончил неожиданно Ёжка и зашaborошил пальцами по столешнице, нащупывая стакашек с водкой. – Налил мне? Давай помянем загубленных человеков!

Юрка слушал, раскрывши рот: как прожил жизнь дед Ёжка, он прежде стеснялся поинтересоваться, теперь же всё всколыхнулось, закипело в нём.

– А-а! – он дико, по-звериному, взвыл, наверное, так, как когда-то ещё подростком на заводе всаживал прут арматуры в добивавшего его громилу. – Никого не осталось? А я? Сын того попа! Думаешь, не достану тебя ?!

Юрка, сжимая кулаки, привстал со стула, но дед Ёжка, прикрывавший руками голову, вдруг медленно, боком, повалился на пол и, дёрнувшись, затих.

«Неужто пришиб падлу? – Введенский в недоумении поглядел на свой кулачок. – Не дотянулся вроде б, не успел. А ведь убил...»

Юрка засуетился, бросился перед ликами на колени, торопливо крестясь. И опять сработала в нём потаённая пружина – вовек ей не заржаветь. Он, нашарив в углу горенки мешок, принялся запихивать в него иконы.

– Мои... Имею право! Моё наследство! – бормотал он и, уложив иконы все до одной, закинул мешок на плечо и уже на пороге споткнулся и растянулся во весь мах.

Из незавязанного мешка выскользнула икона Богородицы, копия храмовой. Юрка, глядя на лик её, тонко-тонко заскулил, до боли прижимая затылок к острому углу дверного косяка. Если б он умел плакать...

ВИДЕНИЕ ОТЦУ АНДРЕЮ. 1937 ГОД

Из этой камеры был только один выход – это знали все, находящиеся здесь, и все они, шепча молитвы, плача или замыкаясь в себе, не теряли слабой надежды на иную участь.

Когда в камеру втолкнули нового смертника, к нему устремились жадные взоры. Отец Андрей не сразу узнал в топчущемся у дверей арестанте с осунувшимся чёрным лицом

и обвисшими болезненно плечами младшего брата Аркадия; окликнул его, и брат, обрадованный, тяжело и неловко ковыляя, добрался до нар и упал на колени перед старшим Введенским.

– Братушка! Сподобил Господь перед смертью-то свидеться! – он, роняя слёзы, пытался разбитыми, распухшими губами целовать отцу Андрею руки.

Тот, усадив его рядом, прижал к себе.

– Ты же с ними, Аркадий, вроде был? Как здесь-то очутился? – спросил, когда брат поуспокоился.

– Был. В прелесть впал. Помнишь, как небогато жили мы на приходе, чуть что – и от архиерея шишки. Денег, славы, пуще – воли возжелалось. А потом ещё понял, что если с ними не рука в руку – пропал. Выжить хотел, робят поднять... Отпусти, брат, мне грехи, каюсь: лукавый прельстил!

Отец Андрей положил на горячий лоб брата ладонь, но в это время проскрежетал ключ в замке, и из-за отворившейся со скрипом железной двери раздался окрик:

– Введенский Андрей?! На выход!

Братья в последний раз обнялись.

– Всё, конец? – прошептал Аркадий.

– Нет! – твёрдо ответил отец Андрей. – Это только начало другой жизни, вечной...

Лицо конвоира, невзрачного паренька в мешковатой гимнастёрке, ведущего отца Андрея по длинному узкому коридору, а потом по склизким каменным ступеням в подвал, показалось священнику знакомым: жёсткая хищная усмешка не сходила со скул с первым пушком. Введенский припомнил разгар зимы, стынущий на морозе храм и летящую навстречу кованую калитку, а за нею потешающегося парня...

– Идти, не оглядываться!

«Все они на одно лицо!» – вздохнул отец Андрей.

Впереди, освещённая тусклым светом лампочки из-под потолка, близилась глухая серая стена. Вдруг она раскололась надвое, и отец Андрей увидел...

ГОРОДИЩЕ. 1612 ГОД

...Воры с литовцами вламывались в Городок тёмной сентябрьской ночью. Укрывшийся ещё накануне днём лазутчик отомкнул ворота передовому отряду. Сонная, в подпитии, стража погибла под ножами без единого звука.

В распахнутые ворота, чавкая копытами по подмерзающей грязи, влетела конница; пешцы, звякая оружием, устремились по улочкам спящего беззаботно города. В узких извилах не видно ни зги – лишь месяц окровавленным оком сумел выглянуть раз-другой в разрыве туч. Треща смолою, занялись факелы, и в разных концах города пыхнули пожары. В зловещих отблесках огня заметались, обуянные смертным ужасом, полуодетые жители. Стыли отчаянные крики, гасли последние стоны, лишь огонь трещал, разгораясь весело и неистово, выстреливая снопами искр; дерево трещало и под ударами ломившихся в клетки лиходеев.

Нечая Щелкунова еле растолкал в постели старый слуга. После крепкой воеводской медовухи – седмицу беспробудно пить и сдохнуть можно – разламывалась голова, мутило нутро, и ещё толком не прочухавшийся Нечай, накинув на плечи зипун, вышел на волю к калитке. Заслышав шум, он отомкнул засов, выглянул на улицу и нос к носу столкнулся с усатой озверелой рожей и едва уклонился от сверкнувшей молнией перед глазами сабли. Пудовым своим кулачищем звезданув в висок, Нечай свалил лихоимца за мертво, бросился, скумекав, что худо дело, за секирой в дом... и от оглушающего удара по затылку сполз под ворота тяжёлым кулем.

Опамятовался, когда уже и дом и подворье опряло пламя. Яркой рождественской свечой пылала церковь напротив.

Кто-то склонился к Нечаю, норовя подсобить подняться – дочь в наброшенной поверх исподней рубахи шали.

– Живой, тятенька?

– Покуда...

Щелкунов ощупывал сгустки крови в волосах на затылке.

– Я-то схоронилась, когда вбежали они, – рассказывала дочь. – Холопьев наших каких побили, какие сами утекли. Давай по сундукам, по ларям шарить...

– Не послушались Галактиона, пропили город! – простонал Нечай. – Прощения просить да каяться б!

– Хозяин-батюшка, бегут сюда! – предупредил невесть откуда выкурнувший, весь в копоти, старый верный слуга.

Поблѣскивая саблями, к ним подбегали воры.

Нечай подобрал клинок возле валявшегося снопом, кулаком пришибленного литвина, крикнул дочери и слуге:

– Из города выбирайтесь, нет спасения тут! К Галактиону хоронитесь, авось келью не тронут! Прощения у него попросите!

Злобно скалясь, ватага набегала; Нечай приготовился защищаться...

В пылающем городе было светло, как днём. Нечаевна со слугой, увертываясь от летящих головешек, споро добежали до заветного лаза в стене, но в освещённом пожаром посаде к ним прицепились двое воров. Эти за сабли не брались, стали лапать девку, пытаются сдёрнуть с неё рубаху.

– О, гарна дивчина!

Слуга, выхватив из-за пояса нож, сунул его в брюхо одному, а второму, послабже и пожиже, вцепился в горло.

– Беги, куда тятенька указал!

Нечаевне удалось ускользнуть в ивняковые заросли: ветки больно стегали по лицу, она падала, спотыкаясь об корни. До взгорка, где стояла келья Галактиона, добралась уж, еле переводя дух, но через круговую канаву сиганула – не заметила, только ноги ожгло ледяной водой.

Галактион, стоя на коленях, молился, на отворившуюся внезапно дверь, насторожась, скосил глаза. Девицу, белым пятном появившуюся в проёме, с растрёпанными, в саже, волосами и в драной грязной рубахе узнал сразу – занимался уже серенький осенний рассвет. Это она, смеясь, помогала чернецу подняться из пыли под воротами щелкуновского двора.

Девушка умоляюще взглянула на Галактиона, уста её беззвучно шевелились.

Он понял и без слов: в низине трещали кусты, доносился возбуждённый гомон пьяных мужских голосов. Галактион расковал цепь, молча, схватил Нечаевну за руку и потянул из кельи. Та, испуганно тараща глаза, было упёрлась – стены монашеской келейки казались последней защитой, но чернец, кротко улыбаясь, успокоил: «Пойдём, пойдём! Спрячу!».

По склону взгорка они сбежали вниз к громадным валунам, притащенным когда-то древним ледником. Нечаевне опять пришлось шлёпать босой по студёной ключевой воде, зато следы так терялись. Под одним из валунов, невидимый в зарослях чапарыжника, открылся лаз в маленькую пещерку. Пробравшись в её сухое нутро вслед за монахом, девка часто закрестилась дрожащей рукой – разглядела в дальнем углу добротную «домовину».

– Не пугайся, дщерь! – Галактион постучал согнутым пальцем по звонко отозвавшемуся дереву. – Часа ждёт. Призовёт Господь.

Прикрыв лаз обломком плитняка, Галактион взбирался обратно к келье долго. Поглядел с вершины горки на догорающий, затянутый сизо-мрачным облаком чада город, прошептал, перекрестясь: «Упокой, Господи, души усопших рабов твоих в месте светле, месте злачне...»

Гремя молотком, он успел только-только вогнать обратно и расплющить заклёпки на цепи, как в келью ворвалась погоня.

– Девка не у тебя, святой отец? К тебе, видели, побёгла, деться ей больше некуда.

Разгорячённые ватажники душили Галактиона вонью перегара, от их испачканных сажей, забрызганных чужой, ещё не успевшей засохнуть кровью, звериных рыл чернец отшатнулся, осенив себя крестным знамением. Но о нём вроде бы сразу и забыли, перевернули всё вверх дном в келье, по брёвнышку едва не раскатали, обшарили и всё вокруг, оглядывали из-под ладоней окрестность.

– Дивка гарна...

– Хороша-то хороша, но городского самого богача дочка. Ведает, небось, где отец казну со златом скрыл.

– Говори, куда спрятал девку?! – подступили лихоимцы к Галактиону. – Думаешь, что на цепь себя, ровно кобеля, посадил, дак и не тронем? Святым стал? Ещё как башку оторвём!

Сухое тело чернеца месили кулаками почём зря, пинали, били плашмя саблями, даже крюк цепи вырвали из потолка. Галактион, сдерживая стоны и мысленно вознося молитвы к Богу, упорно молчал.

– Бросайте на нём топтаться, зипуны без нас поделят! – крикнул кто-то снаружи.

Злодеи, толкаясь в дверях, сломя голову, выбежали из кельи.

Галактион, мало не втопанный в земляной пол своего обиталища, ощущал, как растерзанное, изломанное, горящее одной сплошной раной его тело покидает жизнь. Последним усилием воли он взмолился: «Господи, прости неразумных – и тех и других!. Благодарю тебя, что сподобил душу невинную спасти и свою отдать в руце твои...»